

# **ШАПОВАЛОВ**

## **Владислав Мефодьевич**

# **РУКИ МАТЕРИ**

## Рассказ

*В посёлке Троицкий, что на Белгородчине, установлен памятник невинно-погибшим мирным жителям, расстрелянным тут же, неподалёку, в хуторе Калиновка, 4 июля 1942 года. В монолите бетона старик, скошенный пулей. Упал на одну руку, а другую поднял, прикрыв мать с девочкой. И памятная доска, на которой имена....*

*Погибло тринадцать человек. Среди них семеро детей:*

*Черных Егор — 15-ти лет,  
Черных Миша — 15-ти лет,  
Травкин Ваня — 12-ти лет,  
Яковлев Лёня — 11-ти лет,  
Травкин Боря — 10-ти лет,  
Травкина Рая — 4-х лет,  
Травкин Женя — 1 год от роду.*

*Позже я узнал, что мать, потерявшая четырёх детей и послужившая прототипом для скульптуры, жива и что ей воздвигнут монумент при жизни.*

*И вот я стучусь в незнакомую дверь, а сердце бьётся учащённо: здорова ли, жива?..*

*Дверь отворилась. Передо мною предстала рослая, знакомая мне по монументу, женщина, только сорока годами старше. Я узнал её. Та же стройность во всей фигуре, мужественные черты лица. Время не согнуло её. Высоко, как на постаменте, держа голову, она пригласила меня в комнату.*

*Я ничего не изменил в её рассказе. Да и какой смысл! Никакое «художественное» воображение не способно представить себе то, что даёт жизнь. На что она способна...*

*Вот её рассказ — Натальи Константиновны Травкиной.*

## 1.

Наталья проснулась, когда в серо-пепельном оконце проступила двумя чёрными соломинами крестовина рамы.

Мерно, чуть слышно, тикали на кухне ходики, глубоко, во сне, дышал Иосиф. Посапывал в зыбке Женя.

Бережно, чтоб не побудить мужа, Наталья спустила на глиняный пол босые ноги. Подобрала захватом ладони рассыпавшиеся на плечи волосы, склонилась над зыбкой.

Женя лежал на боку, подложив под щеку ручку, тёмное пятно головы скатилось ниже подушки. Переложив мальчика, постояла, согнувшись над зыбкой, и, взяв со стула кофту с юбкой, вкрадчиво пошла на кухню. Все трое старших спали на печи. К утру полосатая ряднина сбивалась под ноги, и Наталья, став на лавку, укрыла самую меньшую — Раюшу. Девочка, прожевав губами, задержала дыхание и тут же снова примерла детским непробудным сном.

Подошла к столу — увидела на скамейке торбу, завязанную шворкой. Торбу — жалкий дорожный скарб — Наталья собрала ещё с вечера, и эта, прежде не приметная, ничего не значащая в доме вещица, остро кольнула сердце...

Щёлкнула на часах, скользнув по колёсику, цепка, зашатался иссиня-зеленая шишка стеклянного грузика, и Наталья очнулась. Тронула рукой захватанную завёртку на кухонном столе, открыла диктовую дверцу.

Накануне она готовила хлебы, в хате стоял ещё тёплый приятный дух выпечки. Достала начатую буханку с рельефными отпечатками капустного листа на поду, с глубоко запёкшимися до черноты углинами древесной золы, отрезала небольшой ломоть. Покропила краюху солью — и что бы ни делала, думала об одном и том же...

Выходя в сенцы, Наталья оглянулась назад и в узкой половинке двери увидела угол самодельной люльки с деревянной решеткой, железную кровать с ещё девичьими пуховиками и строгий во сне мужнин профиль.

Иосиф вставал позже, и Наталья дарила ему несколько самых дорогих по утру минут сна. Постояла, и всё было бы, как прежде, как всегда, если б не легло тяжестью на грудь что-то ещё непонятное и не до конца осознанное...

Заметно светлело. Наталья ополоснула в сенцах лицо и руки, подвязала косынкой волосы и, стараясь не стукнуть клямкой, вышла с подойником и коркой хлеба во двор.

В низинах ещё стояли туманы; кое-где, на возвышениях, просматривались травяные плешины взлобков. Птичьим гомоном отзывались кустистые перелески. Воздух был настолько девственно чист и свеж, что чувствуешь, как его вдыхаешь.

Хутор кучно, из пяти хаток, гуртился к густому чернолесью; прямо от окон, через луговину с просыхающим на лето ручьём, поднимались до самой хребтины тронутые уже лёгкой желтизной хлеба. Сзади, откуда оранжево загоралось небо, стоял непроглядной стеною тёмный дубняк, а с противоположной стороны горизонт был иссиня-чёрным. Наталья оглянула распахнутую ширь, и её охватил ужас этой открытости и незащищённости...

Зорька стояла в своём закуте. Повернув голову, смотрела большими телячьими глазами, опахивая их длинными ресницами. И как только хозяйка появилась в проёме, встретила её негромким, на полдыха, мычанием. Наталья сунула ей окраек буханки, огладила белые пятнышки шерсти между рогами. Так она голубила свою ведерницу перед дойкой, Зорька отпускала молока больше, на ласку.

Иосиф проснулся, когда Наталья отзвенела белыми тугими струнами молока в подойник и вернулась в сенцы. Сняла с бечёвки холщовую редину, покрыла сверху пустой глечик. Продавила пальцами выемку в холстинке, стала цедить молоко. Глядь, а он стоит уже готовый, с торбой в руке.

— Ося, как же я с четырьмя?..

Еле выговорила с болью в голосе.

— Дык, он же где? — нарочито молодцевато произнёс Иосиф, и в этой нарочитости Наталья уловила всю горечь того, что случилось.

А он ещё смелее добавил:

— Дык, мы его остановим.

## 2.

А через год фронт подошёл к хутору Калиновка.

Наталья, вспомнив последние слова мужа, криво усмехнулась, но тут же пристрожила себя.

От Иосифа было всего два письма. В первом он писал, что ранен в бою и находится в госпитале на лечении, — ну и, слава богу, хоть жив, а что, может, калека, то не такая уж и беда при всеобщем горе, если вернётся, век доживём и так. Во втором коротко писал, что из команды выздоравливающих его направляют в маршевую роту. В воинском деле она не очень-то разбиралась, но чутким сердцем уловила в скупых строчках и тревогу, и беду. Коль не домой, то уже худо. Значит, война не замиряется и невесть сколь протянется.

В нескольких верстах от Калиновки, если взять напрямки через угор, в селе Ястребовка, жила Натальяина мать. Ястребовку немцы заняли раньше, и мать, зная, что на хуторе осталась дочка с четырьмя детьми, пробралась ночью через линию фронта. В полголоса, чтоб не поднять переполох, позвала в окно:

— Наташка...

И голос родной, а вздрогнула. Подхватила живо по-тёмному, отодвинула, на ощупь засов.

В мирные дни на хуторе никто не имел моды брать наружные двери на запоры. Да их, замков, считай, и не было. Но с приходом лихолетья многое изменилось. Наталья отворила дверь и не кинулась к матери, а сперва оглядела, нет ли кого поблизости за её спиной. Только затем, не удержав слёзы, в тихом беззвучном рыдании обняла мать, уронив голову на её плечо.

— Ой, какая там страсть, — простонала мать шёпотом, — что у нас в Ястребовке робилось. Людей сколько побилло...

С вечера за горизонтом, где находилась Ястребовка, что-то сильно гремело, а, когда начало смеркаться, небо взялось багровым кровоподтёком. К ночи зарево немного присело, но всё равно видно было: там что-то горит.

— А дитёв надо сховать, — всё так же таясь, вполголоса, произнесла мать.

Она ещё не отдышалась, должно быть, бежала или шла поспехом, её беспокойство передалось Наталье.

Вдвоём они внесли в погреб по оберему соломы, устлали земляной пол. Сверху покрыли соломой рядом. Перевели сонных Ванюшку с Борей, перенесли на руках четырёхлетнюю Раюшу. Мальчики, волоча ноги со сна, цеплялись босыми ногами за порог. Уложили всех рядом.

Не спали. Сидели впотьмах, вслушиваясь в неясные шорохи, что долетали через открытую дверцу, молчали. Наталья держала на руках Женю, думала, как же

осталась там, наверху, Зорька и подсвинок с курьми, которых с таким трудом она удержала до сих пор, бог весть каким прокормом.

Женя спал беспокойно, ворочался и что-то невнятно бормотал, суча голыми ножками. Наталья то и дело перекалывала его с руки на руку.

Вскоре они надышались, в погребе стало жарко.

— А чаго мы мучаимси? — сказала мать, — пойдём в хату, а как что почувется, сразу перебежим. Погреб-то рядом.

На дворе было тихо, мирно горели в вышине звёзды. Означало себя кромкой светлеющего небокрая хлебное поле.

Они вернулись в хату. Наталья положила Женю в колясочку, что ещё для первенца смастерил муж — так та зыбка и перекачала всех четверых по очереди, — сама примгнула на кушетке, уступив кровать матери. Спали там или не спали, только рано утром обеих всколыхнул неясный шум, что доносился с улицы. Мать подошла к окну, отодвинула занавеску.

— Немцы! — сразу осел её голос.

На краю хутора слышалась автоматная трескотня.

Наталья схватила Женю из колясочки, выбежала в сенцы, затем во двор. И только хотела уже спуститься в погреб, как увидела бегущего соседа.

Максим Сотников работал в совхозе пасечником, дома держал несколько дуплянок, прикрытых сверху кулями соломы. Бывало, срежет кус янтарно солнечных сотов, несёт через межу в деревянной миске. Хлопцы её, Ванюшка с Борькой, ходили потом с надутыми лоснящимися пузами до самого вечера и ко всему клеились.

Он бежал за тыном вдоль улицы в одной нательной рубаше, со взбитым впереди чубом, растерянными глазами. Крикнул что-то и, взмахнув рукою, точно загоразивая её с ребёнком, упал подкошенный.

То, что он крикнул, Наталья не разобрала. Но поняла, что обращался дед Максим к ней, а прикрывающий взмах руки указывал: куда ты суёшься, да ещё с дитём! Наталья прижала ребёнка к себе, закрыла рукой головку.

В это время взойкнула сзади мать. Наталья оглянулась, а мать наложила руки на голову и, как-то неловко оседая на ноги, не своим, чужим, голосом произнесла:

— Вот мы и дожили...

В погребе проснулись от выстрелов дети. Позвали мать, но возле них её не оказалось. Ванюшка метнулся по ступенькам вверх, за ним — Боря. Раюша всхлипнула, но тут же подхватила тоже следом... Наталья хотела на них прикрикнуть и загнать назад, да тут её будто кто хлестнул железной плетью по рукам. Женя вздрогнул весь у неё на руках, будто его на мгновение свело судорогой, и смяк...

Не помня себя, Наталья спустилась в погреб, положила безжизненное тельце на солому и, ещё не осознавая, что положила мёртвого, выползла сама вся окровавленная наверх и потеряла сознание...

### 3.

Двое суток Наталья пролежала в беспамятстве вместе с мёртвыми детьми и матерью. Выходило и, поднявшись до зенита, накалив землю, заходило солнце. Слетали по утрам с насеста, подавались ближе к лесу на подножный прокорм куры. Зазывно, поджимая запалые бока, мычала на привязи голодная Зорька. Повернув голову, выглядывала в дверь коровника. Верещал в закуте поросёнок. Да никто

их не слышал...

На третью ночь выходили из глубоких немецких тылов наши окруженцы, человек пять или шесть. Изголодав, оборванные, брели потай, пробираясь окраинами подальше от дорог. Наткнулись на Троицкое — отступили назад. Село большое, шлях уторован. Тут, как пить дать, полно их. Смотрят, а в стороне, под лесом, несколько хаток отдельно. Не иначе — хутор какой-то высельный. Притаился в затишке глухомани. И там он, вражина, ясное дело, заробеет остановиться.

Было уже глубоко за полночь. Месяц, высветив белёсые стены хуторских маза-нок, завяз в тучах, всё вокруг примёрло непроглядной тьмой. Лишь со стороны Троицкого доносились какие-то непонятные звуки и время от времени вспыхивали одинокие, ползли вверх по небу красные светлячки трассирующих пуль — шипяще-стелющимся эхом запоздало отзывалась на выстрелы дубрава.

От истощения уже не было сил. Рискнули попытаться счастья. Первым, шагов на сорок впереди, шёл их вожак, сержант, не споровший на воротнике петлиц. За ним, немного рассредоточившись, прокрадывались остальные. Сержант осторожно, чтоб не шумнуть, открыл плетёные из лозы воротца: двор запустелый, хатушка без признаков жилья. Душок трупно-фронтальной стелется низом. Ступил дальше — остановился, застолбенев. Так и стоял в нерешительности.

— Что там? — не терпелось задним.

Сержант оглянулся, сложив ладони рупором, произнёс шепотом:

— Мёртвые тут...

Когда подошли все, кто-то ахнул:

— Братки, дак это ж дети!...

Застонала Наталья. Сквозь забытие она услышала говорок и пришла в себя. Разодрала залипшие сухой кровью веки, еле различила на фоне тёмного неба несколько теней.

Правая сторона головы занемела, слышала Наталья плохо и почти ничего ясно не видела, — подтекающая из-под волос кровь заливала глазницы.

Наталья подала голос, и бойцы, казалось бы не из робкого десятка, струхнули. Но тут же сообразили, что ничего опасного вокруг нет, что это всего лишь бабий стон, подошли ближе. Сержант нагнулся, и Наталья признала ворот гимнастёрки.

Измощённые лица, заросшие щетиной по самые глаза, залоснившиеся от пота, приставшие к телу мокрые гимнастёрки, да и весь вид её спасителей сказал о многом. И она то ли от того, что зашевелилась и потревожила раны, то ли от сознания их общей безвыходности снова провалилась в беспамятство.

Одного из своей небольшой команды сержант послал в хату. Боец обшарил сенцы, перебрал горшки на кухне, и, ещё не понимая, что Наталья в обмороке, спросил:

— Мамаша, там скисло молоко, можно его взять?

Наталья снова очнулась. С трудом подняв израненную руку, молча указала на погреб. Двое спустились вниз по ступенькам и вместо продуктов, как ожидали оставшиеся наверху, вынесли убитого младенца...

— Там он... там... — стонала она, не видя, что вынесли Женю.

Всех пятерых сложили рядышком у погреба, прикрыли полосатым рядом.

— Покличьте соседей... — обеспокоилась Наталья, заметив, что солдаты собираются уходить.

Кто-то из них смотался в одну сторону, в другую.

— Везде побитые, — вернулся ни с чем.

— А её куды? — обратился один из солдат к своему командиру.

Сержант молчал. Он, видимо, не знал, как поступить с женщиной, с живой, но не способной двигаться. Она связала бы им руки. Но и оставить её одну не гоже.

— Вы меня не бросайте... — обеспокоилась она догадкой и попыталась подве-

стись, но от резкой глубинной, простреливающей всё тело боли, у неё помутилось в голове.

Когда она пришла в себя, то увидела, что солдаты ладят две жердины, увязывая их путами на расстоянии друг от друга. Кто-то вынес из хаты шерстяное одеяло, под которым она проспала с мужем всю свою супружескую жизнь. Стало ясно, что они готовят что-то вроде носилок. Наталья, с трудом преодолевая нестерпимую боль, дотянулась побитою рукой к Жене, тронула холодный, как железо, лобик. Дети лежали рядышком и каждого в темноте, с закрытыми, стянутыми на ресницах кровавой коркой глазами, она опознала и каждому роняла на грудь своё бесслёзное лицо.

#### 4.

Ночь иссякла на корню. Серой кромкой у небокрая занимался рассвет. Солдаты поспешали. Они несли раненную Наталью огородами в сторону Троицкого, попеременно перехватывая поручни носилок, часто сменяя друг друга из-за одолевающей слабости. Один шёл, для разведки, впереди, двое, то и дело оглядываясь, прикрывали носилки сзади. Шелестела под ногами картофельная ботва. Встретился на пути ровик, носилки шатнулись и Наталья простонала. Сержант, остановившись, прислушался.

Не подходя к Троицкому шагов на двести, сделали передых. Носилки опустили под ракитой, одиноко стоящей на краю поля, возле оврага. И дальше не пошли. Начали шептаться. Наталья со страхом поняла, что солдаты боятся заходить в селение и, с тревогой подумав, что её кинут здесь, обеспокоено шевельнулась.

По пути у неё растряслись раны, начала подтекать свежая кровь. Наталья чувствовала, что слабеет.

— Лежи-лежи, бабка, — укоротил её сержант.

Сам же, приказав всем отходить к леску, что за хутором, и собираться у его южного крайка, где начинается дубовая роща, спустился вниз и оврагом пробрался к селу. Залёг под кустом сирени, высмотрел улицу, надворные постройки захудалой хатёнки, что стояла в ряду крайней. Наконец, убедившись, что ничего опасного нет, подошёл ближе и легонько стукнул в оконце.

Это оказалась хатёнка Марии Фоминичны Черных, солдатской вдовы и дальней родственницы Натальи Травкиной. Свой век Мария Фоминична коротала с дочерью и старым дедом Демьяном, больным на ноги. Натянув впотьмах кофту, запнувшись платком, она боязно отворила дверь, вышла босая на порог, и, не приглашая ночного пришельника в дом, долго не могла взять в толк, чего от неё хотят.

— Мы уходим. Она лежит под ракитой, — поспешно произнёс сержант и точно растаял перед нею впотьмах.

Мария, растерявшись, всё также стояла на пороге.

— Чё тама? — подал с печи голос через настезь оставленную дверь дед Демьян.

Вернувшись в хату, Мария увидела, что Демьян натягивает на тощие бёдра портки, ищет на колу, забитом в простенок, свою замызганную кепку.

— Горе...

К горю можно было уже и попривыкнуть. Оно ведь тоже величина относительная, и то, что в иные времена кажется бедственным, ныне проходит за пустяк.

— Чё щё?! — озлился старый, недовольный тем, что Мария тянет с ответом.

Ничего непонятно: их кто-то всколыхнул, постучав в окошко, а в хату не зашёл. Так может лишь сосед. И что там могло стрястись?..

Как могла, Мария растолковала то, чего ещё и сама как следует не знала.

Без лишних слов Демьян сходил в летний хлевок, наскоро выкатил оттуда ручную, наскоро сколоченную из старых досок тележку. На той колымаге, хромящей на одну сторону из-за ковыляющего колеса, он развозил по огороду навоз. Кинул на дно соломки, покатил вдоль овражка. Мария, не отставая, поспешала следом за пустой тарахтелкой, попискивающей ступицей при каждом обороте перекощенного колеса, тревожно оглядывалась по сторонам и отчего-то пригибалась.

У ракиты, где обпасен каждый бугорок, действительно лежало что-то длинное и плоское, будто вытянутое на доске, не похожее на человека. Мария подошла ближе и по одежде признала свою троюродную, по бабушке, сестру...

## 5.

Наталью, обмыв засохшую кровь на теле, определили в запечье, подальше от дурного глаза. Дед Демьян забил два гвоздя на противоположных стенах, натянул между ними шворку. Мария сняла в горнице занавеску, поцепила на шворку. Строго-настрога приказала своей Алёнке никому не сказывать, что у них тётя. А сама рано утром подалась в соседнюю Ястребовку, где жила акушерка медпункта Валентина Ивановна Померанцева.

На следующую ночь Валентина Ивановна пробилась через патрульные заставы в крайнюю хату на улице посёлка Троицкого. Свой белый халат она, чтоб не было лишних улик, не стала брать. Захватила с собой лишь пузырёк очищенного самогона вместо спирта и небольшой огарок свечки. Мария к тому времени уже подрала на ленты простыню, выварила её в кипятке и успела просушить. Завесила окно одеялом, зажгла куцей огарок.

Вдвоём они перенесли страдалицу на кушетку, приладили, чтоб не падала от руки тень, светильню. Мария прикрыла Наталье ноги. Затем Валентина Ивановна взяла обмылок, долго цокала соском ручной мойки, вытерла руки и тщательно протёрла пальцы самогоном. Только после этого подошла к раненой. Мария, так же вымыв руки, подсобляла ей.

Стояла июльская жара. Мухи забивали окна. Заскорузлые раны покрылись в течении трёх дней гнойными окалинами. Кое-где, на трещинах, выступала кровь. Валентина Ивановна выковыряла из ран червей, измаранных сукровицей, работала как следует все поранки самогоном, наложила повязки. Наталья ни разу не дала себе вскрикнуть. Сцепила зубы, сжала до побеления веки. Так и лежала, сковав тело, точно мёртвая.

У Померанцевой, как говорили в округе, была «лёгкая рука», на свет она принимала младенцев нетрудно и удаю. Принимала она роды на дому каждый раз и у Травкиной — искусно вязала пупки, и, пришлёпнув по жопке, садила кроху на ладонь, высоко поднимала над собой, придерживая другой рукою под затылок головку. Мир звонко оглашался пробудным криком. Весь век она принимала на руки жизнь, теперь они, святые руки, встретили смерть.

В следующий раз Валентина Ивановна пришла дня через три. Так же ночью легонько царапнула коготком шибку, не задерживаясь, сменила повязки. Она раздобыла где-то немного мази Вишневского, ещё четыре шайбочки стрептоцида, и теперь была довольна, что врачует по всем правилам лечебного дела. Управилась

живо, ушла, кроясь оврагом, чтоб её не увидели.

Так она время от времени наведывалась в посёлок, где никто не знал про тайну крайней хатёнки Черных, заботливо пеленала Натальины раны, и они, отзывчивые на доброе бескорыстное сердце, заживали споро и без нагноений.

Наталья, скрытая от людей, отделенная ситцевой занавеской от всего мира в своём полутёмном запечье, изученном до каждой царапинки на стене, лежала беззвучно. Услуги стесняли её, и она, не требуя ухода, стараясь быть в доме незаметной, чтоб не беспокоить кого своим обременительным присутствием. С другой стороны, она тоже чувствовала щадящее отношение к себе и молча была благодарна. О детях и матери ей старались не напоминать, но видно было, что она постоянно думает о них, часами глядя в одну точку.

Поднялась Наталья где-то через месяц, но руками ничего ещё не могла делать. Голова сильно болела. Пулевое ранение, задев сбок затылка кость, видимо, повредило какие-то корешки. Наталья стала замечать, что глохнет на правое ухо. Да в том никому не хотела признаться.

— Ну, я пойду, — закинула однажды за столом, испытывая безмерную благодарность и вместе с тем стеснённую вину своим горем.

Наталья вечеряла вместе со всеми за столом, и у неё начала сходить с лица затворническая желтизна.

— Куда?.. — с придыханием еле выговорила Мария.

В хуторе никого из живых не осталось, имущество и всякую живность уже давно растаскали. Мария по указке Натальи — сходи, что ж за зря добру пропадать, — принесла щепоть соли, два чёрных казана, полкуля ячневой крупки, чудом сохранившуюся на миснике. Жить в хуторе одной на пять пустых хат Марии казалось жутковато.

— По свету, — отказала Наталья.

## 6.

Так она скиталась по свету, живя подпольно на одном месте по недели-две, то у родственников, то у знакомых. Осенью она тайно пробралась в хутор.

Хутор к тому времени, без единой живой души, начал захламляться. Глиняные мазанки, в дождях и непогоде, облупились и стали рябыми, точно в коросте. Кое-где чернели выбитыми шибками провалы в окнах. Наталья увидела своё подворье — сердце остановилось, и она испытала то чувство, что уже раз перенесла. Упала на землю, политую кровью детей, еле поднялась, задубевшая...

Но собрала силы, выкопала на огороде картошку и ведро лука, собрала початки кукурузы. И как немец начал отступать, припряталась на хуторе, чтобы пересидеть, пока перейдёт фронт.

Её, одичавшую, разыскали под вечер, когда солнце, уложив по мягкому февральскому снегу длинные фиолетовые тени, начало садиться за угор. Молодой лейтенант в погонах, чего она сразу не могла понять, чтобы это значило, и старшина в смушковой шапке долго от неё чего-то добивались, наконец, столковавшись, пообещали зайти утром. Их привела Мария и в разговор не мешалась, но когда военные ушли, посоветовала:

— А чего терпеть, скажи им всё...

Наталья смотрела недвижно в окно и, казалось, не видела его.

— Пущай все люди знают...

Сидели потемки, огня ещё нельзя было зажигать. В поддувале просыпались

сквозь колосники раскалённые жарины древесных огарков, красно высвечивая стены, и Мария завесила от греха окно.

— Здесь ночевать будешь, али к нам пойдёшь?

Наталья покачала головой.

Когда Мария ушла и шаги её примёрли где-то за окном, Наталья поднялась. Разыскала старый жмуричек, достала совком из поддувала жарину. Прикурила фитилёк, поправила зёрнышко огонька. Огораживая пламя ладонью, подошла со светом к тумбочке, взяла оттуда огрызок ученического карандаша и тетрадный клочок бумаги. И как села за стол с карандашом в руке, не удержалась...

Тем карандашом писали ещё дети — Ванюшка с Борей. Те держали карандаш, как учили их в школе. А Раюша брала карандаш захватом в кулачок, чиркая бумагу вдоль и поперёк. В последнем письме Иосиф просил, чтобы ему прислали обведенную ручку Жени. Наталья приложила крохотную растопырку на свободное место внизу письма, обвела каждый пальчик. Затем передала огрызок Жене, и он наставил под пятернёй целую, известную только его возрасту, грамоту буквенных вензелей...

Не слова, слёзы пролила на тот клочок тетрадной бумаги Наталья, просидев до ночи, пока не сник, согнувшись на дно блюдечка старичком, выпив последние капли жиринок, фитилёк.

Утром, как обещали, явился лейтенант со старшиною. И ещё третий с ними, капитан в новой военной фуражке с блестящим козырьком. Брови чёрные, нос крючком. И глаза водянистые на выкате.

— Ну, готово? — нетерпеливо спросил.

И как узнал, что Травкина ничего не написала, передёрнулся как-то весь непонятно.

— Вот так всегда, я так и знал! — грубо упрекнул тех двоих, что вытянулись перед ним, не смея молвить слова.

Наталье стало жаль лейтенанта и старшину. Как она поняла, они допустили оплошину и теперь стояли виноватыми.

— Ну хорошо, — произнёс, чуть картавя, капитан, — я тут кое-что набросал.

Вынул из бокового зашинельного кармана вчетверо сложенный лист бумаги, передал Наталье.

— Читать, мамаша, умеешь?

Слово «мамаша» ёжисто царапнуло слух, к ней ещё никто так не обращался.

Затем ей велели одеться. Наталья накинула на плечи плюшку — жакетку из чёрного плюша, повязалась платком. И, выходя из хаты, перекрестилась.

Трое вооружённых вели её хутором в сторону Троицкого. Лопотали на ходу по халявкам сапог широкие полы шинелей; путалась в длинной юбке, поспешая, Наталья.

— У вас было четверо детей? — уточнял некоторые детали капитан.

Через время опять:

— Совхоз назывался «Казацкая степь»?

И снова:

— А муж не в плену?

Её никогда не допрашивали, и она испытывала какое-то неприятное чувство, всё больше проникаясь к этому горбоносому человеку каким-то ещё мало осознанным недоверием. Особенно насторожил её последний вопрос. Были, конечно, разные думки за полтора года такой бойни, поди, много чего перетрёшь в голове, но она и мысли не допускала, чтоб это с Иосифом случилось что-то негодное.

— Какие от него вести?

«Какие вести... — усмехнулась себе, — знала бы где он, ластовкой полетела...»

Ещё издали, подходя к Троицкому, Наталья заметила на сельсоветовской хате красный флаг, а на площади какие-то серые загоры. И когда приблизилась, то себе подивилась... не загоры то, не частокол, а солдатики, выстроенные на снегу в длинные ряды перед потрёпанным грузовичком с опущенными на все три стороны бортами. Тут же, возле резинового колеса, стояла скамейка в виде приступки. С машины ей подали руку и встали на помост.

Площадь сразу осела, выделив хаты по самые завалины. Кое-где, меж дворов, чернели провалами свежие гари, отчего улица выглядела по-старушечьи щербатой. Солдатики с ружьями и развёрнутыми знамёнами стояли двумя кутами — на левое крыло и правое. Сбок их сбились чёрной изреженной кучкой миряне. Коекого из сельчан Наталья узнала и теперь терялась, принято ли здороваться отсюда, с трибуны. Она поклонилась всем разом.

— Митинг, посвящённый освобождению Троицкого нашими доблестными советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков, объявляю открытым! — звонко прокричал немолодой мужичок в латаных сапогах и московке из перекрашенной мадьярской шинели.

Это был известный на всю округу довоенный председатель сельского совета по имени отчеству Иван Васильевич, покалеченный ещё в ту, первую империалистическую, войну. Когда Наталья регистрировала детей, Иван Васильевич каждый раз, вручая метрики, тепло поздравлял и крепко, по-мужски, жал ей руку. Наталья не видела его с тех пор, как вступили немцы, и теперь отметила, что он крепко сдал по сравнению с тем, каким был в прежние годы. Да и все, кого она встречала, мало были похожи на себя, война формует людей по своему облику и подобию.

Подошла очередь, и её подтолкнули вперёд на свободное место. Наталья очутилась посреди кузова. Сотни глаз смотрели на неё в упор и она, никогда не испытывая на себе давление взглядами такого количества людей, растерялась и невольно отступила назад. Но капитан вытолкнул её на прежнее место.

Она забыла, что в плюшке лежит записка, а все слова, которые знала, которые заготовила, растеряла. Не соберет к месту. Ком сдавил горло.

— Бабка, начинай, начинай! Чего молчишь! — понукал капитан шепотом.

«Какая я тебе бабка, — мысленно обиделась Наталья, — меня в тридцать лет война такую согнула...»

Однако, внимание, которое было сосредоточено на ней гуртом людей, заставило одуматься, Наталья достала из плюшки сложенную вчетверо бумагу, развернула её и дрогнувшим голосом прочла:

— «Немцы — звери, — запнулась, еле выговорила следующие слова: смерть им, проклятым врагам!»

Это были не её слова, и она не смогла читать дальше. В глазах у неё помутилось, и она качнулась. Её поддержали сзади, а капитан выхватил листок бумаги из её руки и вышел вперёд, застыв Наталью спиной.

— Русские люди! Фронтовики! Слушайте голос русской матери! — Произнёс он так громко, чтобы его услышали в последних рядах. — Восемь месяцев назад я, как и все советские люди, жила радостно и счастливо. Росли мои дети, старшие уже ходили в школу. Звонкие детские голоса неслись из каждой квартиры. Каждый, кто любит жизнь, кому дороги семья и дети, знает, какое это счастье. Мы тогда проживали в Калиновском отделении совхоза «Казацкая степь».

При чтении капитан делал паузы и становилось так тихо, что было слышно, как сзади, на фронте сельсоветовского крыльца, лопотал на ветру красный флаг.

— Когда мой муж Иосиф Кузьмич Травкин ушёл на фронт, я осталась с четырьмя детьми в возрасте от одного до двенадцати лет. Четвёртого июля тысяча девятьсот сорок второго года в четыре часа утра в Калиновку ворвались фаши-

сты. Ничего не разбирая, они открыли автоматную очередь. Я упала, потеряв сознание, а когда очнулась, то увидела, что все мои дети убиты, а в моём теле двенадцать огнестрельных ран.

Читал капитан выразительно, хотя на морозе картавил сильнее. Голос его, густой, басистый, походил на тот, что по радио объявлял фронтовые сводки. Мороз по коже дерёт.

— Это сделали немцы! Таковы они все! О, звери! О, бесчеловечные враги! Слышал ли ты предсмертный крик наших крошек, мой любимый муж?! Так отомсти же за них, за невинную кровь! Истребляй фашистского гада! Ведь он ещё топчет нашу родную землю, он ещё убивает таких же, как наши, детей Украины и Белоруссии!..

Колонны, казалось, сомкнулись плотнее — нигде блестящее остриё штыка на винтовках не шелохнётся. Чёрное вороньё, грая над стрехами, тьмой пронеслось. Белый пушок инея кое-где на деревьях мучнисто осыпался.

— Товарищи! Братья! Кровь невинных детей, пепел сожжённых хижин стучат в наши сердца. Они зовут нас перебить всех проклятых немцев, истребить их гадючье племя. Только тогда мы сможем вздохнуть свободно. Помните об этом всегда. Помните и мстите! Пусть боец не ложится спать, не кладёт винтовку, если он в день не убил хоть одного немца! Поклянёмся же, что не устанем мстить врагу до полного его истребления! Бойцы! Вы слышите предсмертные стоны детей?! Смелее же идите вперёд, на Запад! Смерть детоубийцам! Убей немца! Убей! Убей!! Убей!!!

Когда закончились выступления, кто-то подал команду. Солдатики развернулись и длинной колонной, поделенной на части, со знаменем впереди, прошли маршем перед авто-трибуной на Запад, как и призывал капитан. Лица их были не столько суровыми, сколько мрачными, и Наталья подумала, что они идут в смерть и что, может, не сегодня-завтра кого-то из них уже не станет...

## 7.

Жизнь начинала как бы сызнова. Разыскала уцелевшую миску, выровняла погнутую алюминиевую ложку. Приняла от Марии казанок.

Когда-то старший Ванюша садил меньших Борю и Раю рядышком и при тусклом помаргивании жмурика читал из вечера в вечер книжку про какого-то невольного отшельника. Этот страдалец после кораблекрушения попал на необитаемый остров один. Пораясь у печи с рогачами, постоянно озабоченная своими хлопотами по хозяйству, Наталья урывками, одним ухом, прислушивалась к монотонному бубнению за столом.

«Вот какая совсем иная жизнь, не похожая на людскую...» — думала себе.

Теперь её жизнь чем-то походила на ту, что в книжке Ванюшки, а хутор в самом деле напоминал необитаемый остров. Тяжелее всего было перенести эту глушь и безлюдье.

Вестей от Иосифа никаких не было, хотя Наталья на всякий случай по несколько раз на день подходила к портфельчику. Тот портфельчик Ваня, когда прервалась учёба в школе, повесил на грушу возле ворот вместо почтового ящика, и туда успела ещё залететь последняя весточка из госпиталя. Надежд было мало, однако Наталья навевывалась к ободранному портфельчику на суку, закладывала руку в матерчатое нутро, хотя знала, что почту за ненужностью никто в хутор не носит — её просто тянуло поддержать там руку.

И всё же Наталья не могла снести тяжкого одиночества, особенно после того, как побывала на митинге. Перед сумерками её, одну единственную на все пять хат в запустелом и уже одичавшем хуторе, охватывал какой-то панический страх, и она боялась подходить к кровати, зная, что не заснёт. Одну ночь продумала, другую, наконец, решилась: в ноги упаду, а буду просить, неужто сердце камень, не растопится?

Что могли её, материнские руки, кроме как хлеб растить, детей пестовать, а теперь, побитые, и того меньше. Но они, руки матери, сгодились.

В ту пору готовилось самое грандиозное столкновение двух сталеёв на прочность, какая выдержит, и, естественно, заранее собирались врачевать не только изрешеченные тела, но и побитые машины. Наталью Константиновну Травкину взяли в мастерские по ремонту танков.

Мастерские они так только назывались, потому что постоянного пристанища для них не оказалось, приходилось каждый раз, по-цыгански переезжая, ютиться в самых разных местах, где можно было наскоро поставить тот или иной станок и загнать в ворота, часто проломленные в кирпичной стене, танк. Наталью встретил незнакомый доселе мир.

Её завели в длинный сарай барачного типа с оконцами поверху, приставили к большому корыту с керосином. Резкий запах керосина был знаком ещё до войны, брали его для лампы, а то и подтопки при сырых дровах. Но в последнее время пришлось перейти на каганец, и теперь этот запах приятно, мучительно напоминал прошлую жизнь и домовитый дух родного очага. Наталья помнит, как трудно было отмыть руки, если где попадёт крапинка керосина и как от маленькой его толики портится продукт, долго неся невидимые следы тошнотного привкуса во рту. Теперь она окунала руки в керосин по самые локти и пропахла насквозь так, что всё на свете, за что бы ни бралась, куда бы ни пошла, ей отдавало машинной гнусью. Мыла она части от моторов, снятых с побитых танков. Поначалу давали ей что попроще — какую зубчатку или шатун, а как немного наломала руку, то и клапана, кулачковые валы и даже топливный насос. Особенно робко бралась Наталья за топливный насос, этот чуткий прибор, вызывающий в ней понятие чего-то нутряно-сложного и недоступно-скрытого в теле машины, отчего, может, зависела вся её железная жизнь.

Осторожно, чтобы не наделать заусениц, Наталья отвинтила нарезные болтики, сняла крышку с прокладкой, и, разобрав насос по частям, разложила их на доске, что брошена поперёк корыта. Прополоскала всё по очереди. Насухо вытерла ветошью. Затем свернула тряпицу заостренным концом, выбрала мазутную черноту в недоступных уголках и как почистила, все части собрала на место. Обратным порядком.

Солнце блеснуло в верхнем оконце, косо́й луч, пробив чад цеха, высветил синий до дна керосин в корыте, тронул насос, и он улыбнулся, будто новый, освежёнными гранями.

Работа для неё была и занятой, и отрадной, Наталья просто забывалась на весь день и к ночи валилась на свой сенничек в такой утоне, что лишь ухо — к подушке, а веки уже слиплись. Вот если б не руки...

Руки ныли по ночам во сне, не давали полного роздыху днём, на работе. Её тело прошили несколько пуль, одна задела мякоть четырех пальцев, жгутовые шрамы, стягивая кожу, мешали разогнуть ладонь. Но в том она никому не признавалась и, тая изъян, сжимала кулачок, чтоб, упаси боже, никто не увидел поранки и не вернул её назад, в гражданку.

Но больше мучили дети. Днём она как-то забывалась в работе, а вот ночью... Они приходили к ней во сне, и она ничего не могла поделать с собой, изводясь непроходящей болью в сердце. То являлся старший Ванюшка, уже пятиклассник

— помога в хозяйстве и так, глава заместо отца над младшими. Слушали они его пуще матери, щадящей малых во всём, и она, наблюдая за ними со стороны, улыбалась себе самой скорбно-счастливой улыбкой, которая бывает лишь у матери. Учился он хорошо и уже, было, заготовил книги на будущий год — обернул каждую в газетку, составил на полочке рядышком. Каждый раз, проходя мимо, не мог не остановиться перед завтрашней радостью. За ненужностью учебники в разруху никому не сгодились, их не растаскали, как утварь или еду. Остались они в избе нетронутыми, и Наталья, в последний раз прощаясь с родным очагом, обводя горницу глазами, задержала на полочке печально-долгий неразлучный в памяти взгляд...

То снился средний, Боря, озорник и лукавец, шут знает в кого удавшийся, и сделает шкodu — ни за что не признается, а как начнёт балагурить — век не переслушаешь и сразу не разберёшь, что несёт нескладицу. Но с уходом отца пострел как-то приник и стал незаметным. Где подевалась прыть. Забьётся в уголок, сидит неподвижно, а как его окликнешь — посмотрит на тебя дикими не признающими глазочками...

Раюша у них вся в материнских заботах. И снится она чаще, как пеленает обёрткой из кукурузного початка свою тряпичную ляльку с глазами и носом, наведенными послюнявленным химическим карандашом.

И всё ж постоянно снился Женя.

Наталье снилось, как она в крайнем напряжении выхватила его из колясочки, выскочила во двор, как что-то жёстко ударило её по рукам, и как Женя, весь вздрогнув, тут же бессило смяг...

От жгучей боли в руках она сразу просыпалась и уже до утра не могла сомкнуть веки. Так сны мучили её из ночи в ночь, и она чувствовала, как выкрученная днём на работе, не набрав силы отдыхом, всё больше слабеет.

Рядом с нею, в цехе, работали такие же, как она, бабы, частью обездоленные похоронками, частью совсем ещё девчата, не изведавшие супружества и семейного счастья. Особенно она подружилась с Марфой — дебелий молодой из под Фастова. Здоровая, размашистая в плечах, до упаду работающая, она тянула за двоих, и ей поручали даже неподъёмные коленвалы, которыми она орудовала, как рогачами у печи. Можно было только удивляться, как она поднимала тяжесть, недоступную и мужику. Марфа потеряла дитё в дороге во время эвакуации, когда бомбили эшелон, сходная доля сроднила их, тем более, что позволяло соседство: железные корыта их стояли рядом и места их на втором ярусе деревянных нар тоже находились бок о бок. Однажды Наталья поделилась бедою:

— Не сплю я, Марфа, сны одолевають...

Марфа поставила коряжисто узловатый вал на попа, навесила крутой излом чёрных бровей над тёмными, как пропасть, глазами. Будто в сердце кольнула:

— Малэнькэ трэба.

— О-о-ой, — еле продохнула Наталья, тронув рукой грудь, где остались лишь висячие блинчики.

Те мысли, приспанные в сознании, всё же постоянно витали где-то рядом, но так ясно не прорезывались, может из-за того, что она их боялась.

— И я хочу... — призналась Марфа.

Она отнесла поперек себя, упирая в живот, коленвал на пирамиду и, когда вернулась, добавила:

— Малэнькэ дуже хочу, Колымы не хочу.

Логика войны — в смерти. По своему подобию она диктует законы, супротивные самому существованию природы. Строгий указ запрещал беременеть женщинам, служащим в армии. Таких отдавали под военный трибунал. Затем отправляли в тыл и после родов ссылали на лесоповал, а детей изымали в приюты.

Приказ им перед строем зачитал политрук и, без дрогнувшего мускула в лице, дал расписаться каждой. В том логика войны: жизнь убивалась в зародыше. Когда это было, чтобы зачатие приравнилось к умышленному членовредительству, и никогда ещё в человеческой истории не карали за беременность по самым суровым законам военного времени.

## 8.

Поначалу было трудно привыкнуть к шуму и металлическому лязгу, что стоял в цехе с утра до ночи. Рычали на испытательных стендах моторы, грюкали, отдавая наковальным звоном в ушах, кузнечные молоты. С дребезжащим визгом, от которого мох поднимался на руках, бешено вращались карборундовые точила. Наталья, привыкшая к шёпотному шелесту спеющего жита, глухо земляному топоту босых ног, невесомому щёкоту степного жаворонка, вздрагивала от неожиданности, если включался тот или иной агрегат. Но постепенно вживалась в новые для неё звуки и уже различала, где какая идёт работа и для чего к «огненному жучку» — так называла она электросварочный аппарат — подгоняют громадину танка.

Ясное дело, лучше всего запоминала она детали, с которыми приходилось возиться самой. А когда увидели, что Наталья очень быстро освоила свою работу, её перевели кладовщицей. Она зашла в узкую коптёрку с электрическим освещением, с длинными стеллажами по бокам и растерялась — такая сложность свалилась на её голову.

На нижних полках лежало что потяжелее — опорные, для гусениц, катки с про-резиненными ободами, стальные секции траков, ведущие, с крупными зубьями, колёса. А выше — какие-то шлангочки, изолированные провода, медные трубочки. Отдельно, в землянке, хранились крупнокалиберные, все в масле, пулемёты, оптические, в коробках, прицелы и ещё целый ворох каких-то премудростей, которые она долго не могла осилить памятью. То, что у двери в землянку стоял часовой, говорило о важности и ответственности дела, которое теперь поручено ей. Здесь надо было крепко мороковать головой, разбираться в бумагах. Наталья вся ушла в изучение новых обязанностей и вскорости уже неплохо разбиралась, что кому требуется и где находится та или иная деталь.

Вслед за деталями она познавала и людей. С утра, первейшим, прибежал из четвёртого цеха Самуил Мойшевич — Михайлович, как он изменил своё отчество, так легче произносить. Небольшого росточка, проворный и деликатный, он иногда мог принести даже конфетку, бог где раздобытую в такое страшное безвременье, и та облапанная, перемятая в руках карамель, которой он сластил, жгучей болью отзывалась в её сердце, напоминая детей...

— Будьте любезны... — беспрестанно повторял он и, поднырнув под прилавок, обходительно оттирал кладовщицу в сторону, а сам забирался в глубину склада, роясь и отыскивая на свою потребу то, что ему нужно. Он не давал Наталье поднимать тяжёлые железяки и сам отбирал их на тележку. Наталья в напряжении ждала, чтоб он уже управился, и когда Михайлович уходил, она с облегчением вздыхала.

Все остальные проходили за день как-то по-деловому незаметно, рабоче-обыденно. Ещё кто оставлял свой след в памяти, так это Аноха Крутских — мужиковатый зауралец с ухарско-раскидистым сибирским характером.

— Ну-ка, Алёна... — называл он её каждый раз не своим именем и тут же наот-машь, по заливчатски хлопал могучей ладонью по доске, припечатывая заявку.

Этому подай. Поднеси. И он не доходил до того крайнего унижения, чтобы это подсобить снять какую-нибудь тяжелину с полки. С ним вообще разговор короткий: дай — и всё. Из-под земли вынь, а положи. Наталья побаивалась его — он и в ухо залепить может, не страшась штрафной, где, по его похвальбе, отбыл уже трижды.

В мастерские Аноха Крутских попал, выйдя по ранению в нестроевые, но каждый раз грозился подать рапорт, чтобы его отправили на передовую, так как ему, таёжному медвежатнику, постыдно «вакшаться с разными винтиками-болтиками». Но рапорт не подавал.

На работы в мастерские пригоняли немецких пленных. Зная, что у Натальи постреляли детей, Аноха куражился.

— Если ф я, Даха, иво сустрел... ты мне, лишь покажи, я иво, гада-заподлючного, вот ентими клешняками, — выставил он руки-ковши и попытался притулиться к ней плечом, отдающим терпким козлиным потом.

Наталья развернулась, сжала, что силы израненный кулачок и со всего маху саданула в вонючее плечо. Отскочила, себе дивясь, в угол, оскалилась ледяными остриями глаз.

После ухода Крутских Наталья приходила в себя, успокаивалась, зная, что теперь уже до вечера всё сойдёт благополучно.

Ещё находясь в цехе, Наталья не слышала, что происходит за его стенами. Перестук ремонтного грохота заглушал все прочие звуки. Теперь же, оставаясь наедине в минуты коротких роздыхов, она всё отчётливее разбирала неясный, утробно-земляной гул, что доносился со стороны фронта. А по тем танкам, что в большинстве поступали на территорию мастерских, можно было хотя бы отчасти представить, что там творилось. Говорили о том, что тяжёлые бои идут под какой-то там Прохоровкой, о которой она и слыхом не слыхала, да теперь война учит всех своей географии.

К вечеру канонада усилилась, и Наталья с тревогой посмотрела на дверь. Задумалась на минуту, сняла с гвоздика заявки, что собрала за весь рабочий день. Отметила прибыль-убыль в книге учёта, потушила свет. Захватила амбарный замок, вышла со своей каморы...

Во двор мастерских волоком тащили битую технику — тяжелейший танк. Старшина Самойлов — комендант подразделения — поднял руку. Сцеп остановился и, танк, клюнув опущенным дулом пушки, замер.

Весь танк был в пыли, оскалисто блестели свежим металлом на его мёртвой туше снарядные поранки. Одна из колдобин была величиной с ладонь, Наталья подошла ближе и, примеряя, вложила в неё пораненный кулачок.

— Божечки ж ты мой, силища-то какая супротив мягкого тела.

## 9.

К осени фронт откатился далеко, под самый Днепр, тылы начали подтягиваться, и воинская часть, в которой служила Наталья, готовилась к передислокации. Привычный, уже как-то устоявшийся ритм жизни сбился. Всё пришло в необычное движение. На склад запасных частей, в подмогу, выделили несколько девчат. Тесное, забитое деталями помещение заполнилось оживлённым гомоном, стуком молотков, забивающих гвозди в деревянные ящики. Наталья моталась распорядительницей из конца в конец своей каморы, еле поспешала.

По правде, новые слова, особенно длинные и совсем не русского звучания,

настораживали её. Помнится, как странно, дико — на ляд кому оно сдалось! — отчуждённо прозвучало для неё слово «эвакуация». Затем она испытала на себе, что такое «оккупация», перевернувшая, как ничто, её жизнь. Теперь вот это — слово п е р е д и с л о к а ц и я...

Постигая всю эту несусветную муть, Наталья начинала понимать, что война имеет и свой страшный язык.

Да в круговерти повседневных забот некогда особенно размышлять. Лишь поздно вечером, когда она после смертельной утомы валилась на свой сенничок и смыкала веки, невольно приходили мысли: какая непомерная работа идёт следом за фронтом — это ж надо только подумать! Ничто на свете не берёт столько сил, как война, и ничего худшего люди не могли себе придумать, как ту же бойню...

На погрузку эшелонов пригоняли из лагеря пленных. Немцы брели, гребя сапогами пыль, нечётким строем длинной колонной, под окриками стрелков расходились небольшими кучками по цехам. В кладовую выделяли человек пять-шесть. Стараясь не смотреть в глаза русским, немцы сразу принимались по-деловому за работу. Свободно ходили между стеллажами, сдвигали ящики, выносили их во двор. Странно было смотреть на их зелёные френчи в нашей обжитой своим духом, каптёрке, слушать короткий переклик чужой речи. Трудились они не спеша, но споро, работа у них подвигалась укладисто. В такой близости Наталья ещё не встречалась с немцами, и, как чумных, чуждалась каждого, кто проходил мимо, непримиримо посматривая на них из-под жёстких бровей остистыми глазами.

— Командант, — обращались немцы за указанием к Наталье, сразу признав её тут за хозяйку-распорядительницу. Будто варом обжигало её это инородное слово.

Однажды она очутилась с немцем так близко, что случайно они столкнулись. Испугавшись, Наталья отпрянула назад. Пленный тоже в страхе отступил к полкам. Но по его полохливому лицу было видно, что струхнул он больше от того, что толкнул женщину. И как ни странно, боялся он того, чтобы «командант» не приняла недоразумение за какой-нибудь срамной умысел. Пленный искал в её глазах извинение, и она, не улыbnувшись, чуть смягчила черты лица.

Конечно, это были уже не те немцы, которых она потай наблюдала из своего лазаретного запечья через шибку, вмазанную в стену, или которых встречала, бедуя по дворам близких и знакомых. Спесина на них была сбита начисто, хотя и держались они гордо и независимо, аккуратно исполняя свой невольничий долг. Наталью поражало, что даже голод не принизил их головы. Бывало, помнит она, до какого унижения доходили при немцах наши пленные из-за огрызка чёрствого хлеба, а эти будто не видят, если кто развернёт бумажку с варёным бураком или принесёт горсть семечек. И хотя на них была все та же зелёная, правда, теперь уже довольно обмятая форма, вызывающая омерзение, те же обкованные кусочками металлических пластин вдоль ранта сапоги с широкими и уже этим почему-то отвратительными раструбами халявок, те же пилотки, отношение к ним изменилось, ибо трудились они честно, без хитростей и отлынивания, держались достойно, и это вызывало чувство какого-то ещё неосмысленного до конца не то что уважения — этого слова в то время применительно к немцам допустить было нельзя, — а простого человеческого отношения. Тронув костистого немца плечом, Наталья, на удивление себе, ощутила такую же, как у всех, человеческую плоть, и это больше всего привело её в какое-то непонятное смятение, будто она раньше не знала этого, не представляла да и не думала, что у них есть ещё и тело, уж не говоря о душе.

Немец, вытянувшись виновато, повторял одно и то же слово, Наталья, округлив глаза, непонимающе и понимающе смотрела на него из-под дрогнувших в горестном изломе бровей. Конечно, это были чужие слова, Наталья их не слышала ещё,

но они не походили на те, «военные», что знала она прежде, и теперь поняла, что немец извиняется.

— Иншульдиген зи, иншульдиген зи, битте, — повторил он и в его приглушенном голосе чувствовалась не только неловкость, а и уважительность, которую можно встретить у мужчин к женщинам не часто.

Наталья молча кивнула головой. Немец еле заметно улыбнулся.

«Зачем всё это?.. Ведь он такой же, как я... И никакой не зверь... И кто всё это придумал?..»

## 10.

Пленные немцы, обращаясь к ней со словом «командант», будто нарекли: весной, когда снег сошёл и земля взялась мягкой опушкой зелени, Наталью вызвали в штаб части.

В ту пору находились они уже в районах Западной Украины, местности для Натальи новой и необычной своим хуторским складом. Странно, что вместо привычных для неё сёл на русских просторах, встречались тут лишь отдельные, с подворными постройками, усадьбы, раскиданные друг от друга на сотни метров. Смотришь в одном месте, у перелеска, соломенные стрехи кольцом — хата, сарай для скота или, как тут называют, повитка, высокий конус клуни, приземистый дровник, — в другом, у самой низины раскатистого яра, в третьем — на самом яру увальной хребтины, где, видно, судьбою выпал лоскутный надел. По узкой стежке, пробитой в плотном, ещё невысоком дёрне, она спустилась вниз, к небольшому ключу, перешагнула ручей чистой, как стекло, воды, поднялась на пригорок, где стояла усадьба, обнесенная жердяной загородой. Вечерело. Окна, выделив крестовины, зажелтели слабым светом, во дворе, кроме часового, никого не оказалось. Наталья назвала пароль и вошла в узкие воротца.

По сути, она себя не считала военной, хотя носила гимнастёрку и солдатские, уже совсем сбитые, ботинки. Поэтому не имела моды, как другие молодайки в армии, козырять рукой. Вошла, согнувшись под низкой притолокой, в крестьянскую хату и, ещё не различая лиц, поздоровалась, как это было принято у них на хуторе, с небольшим поклоном головы. Ей сделали замечание.

В хате было темно, горела вместо лампы сплюснутая под фитиль гильза от крупнокалиберного пулемёта. Однако Наталья уловила, как один из тех, что находился ближе к огню, поморщился. Его широкие погоны отражали свет серебряными зеркальцами, положенными на плечи, а высокая фуражка захватывала округлой тенью почти половину белёсого потолка.

За некрашеным столом сидело человек пять. Военные звания, которые Наталья различала уже хорошо, были у всех высокие, и она просто растерялась, кому следует доложить, что явилась по вызову, тем более, что офицеры, вероятно отложив свои дела, свели на ней не то любопытные, не то испытывающие взгляды.

И прежде она ощущала страшное стеснение, когда ей уделялось всеобщее внимание. Тот митинг на машине с опущенными бортами до сих пор, если вспомнит, отзывался в сердце, а здесь такое большое начальство, и она, остановившись у порога, не в силах шевельнуться, чувствовала, как у неё занемели ноги.

— Наталья Константиновна Травкина? — вывел её из оцепенения всё тот же подполковник с блестящими серебром погонами.

— Травкина, — коротко ответила она.

— Ну, как вам работается?

Такого вопроса Наталья не ожидала. По правде, с тех пор, как оповестили её про вызов, передумала она о многом. Вообще, тяжёлое состояние переносишь, когда вот так идёшь в полном неведении, что тебя ожидает, и за дорогу чёрт знает что в голове перетрёшь. Была и затаённая слабая надежда: может, какая весточка о муже Иосифе объявится... Но тут же эту мысль притупила другая... Наталья даже в уме боялась произнести то страшное слово...

Ей следовало отвечать, а она молчала. Ну, как работается? Как всем. Ноша досталась тяжкая, да рази кому сейчас легко? Поди, весь свет на одном горе сошёлся, хотя Наталья видела, что кое-кто удобно укрылся в затишку мастерских, война-то она не всем одинаково достаётся, кому мимо, а кому всё в рыло, да в рыло, как говорится, кому беда, а кому мать родна, да не о том толк и забота — скорее бы замирилось на земле, уж мочи нет больше терпеть...

— А как у вас с образованием? — спросил всё тот же подполковник, и Наталья поняла, что он тут главный.

С образованием один смех да и только. Из хутора до школы далеко, походила, пока снег выпал, а больше обуви не было. На второй год — ещё столько же.

— Вы сколько окончили классов?

— Один-два, хоть друг о дружку стукни.

Подполковник сразу не разобрал, а когда понял, чуть заметно улыбнулся.

— Вот тут её накладные, — сказал другой офицер, у которого на одну звезду меньше на погоне, а медалей на груди больше, и положил перед подполковником несколько листов.

Подполковник внимательно рассмотрел бумаги. Потом спросил:

— Так ты одна осталась?

— Чисто одна.

— А муж?

Наталья пожала плечами.

Кто его знает? Может, на хутор и приходят письма, да так и оседают в портфельчике, а вернее всего, не идут, возвращаются по обратным адресам, ведь там, в Троицком отделении связи, знают, что почту в хутор носить некому. Наталья впервые пожалела, что сорвалась с места, может бы уже знала какую весточку. Теперь со слов подполковника она поняла, что вызвали её не для того, чтоб сообщить, где Иосиф, и мысленно усмехнулась своим наивным надеждам...

На столешнице лежала ещё какая-то бумага, сложенная пополам. Наталья сразу и не заметила её. Но, когда подполковник перестал задавать душу выворачивающие вопросы и начал внимательно читать, что там написано, а все остальные стали ждать, пока он кончит, Наталья тоже положила глаза на тот чуть синеватый листочек. Она уже знала: на всех, кто нанимается в армию, заводят личное дело, это, наверное и была бумага на неё.

— А где вы находились во время оккупации? — перебил её мысли подполковник.

Опять это страшное военное слово. Наталье уже приходилось отвечать за него, будто она в чём виновата. Иногда из далекой германской кабалы возвращались невольники. Кое-кого отпускали по неизлечимой болезни, иным удавались побег. Числились они там, на каторжных работах, по номерам. Цифровую наколку наносили на руку, чуть ниже локтя, Наталье приходилось видеть эти страшные знаки. Теперь она чувствовала, что на неё тоже наложено какое-то клеймо, которое, как татуировку, и не снять, и не счистить.

— Блукала по свету...

— А чем занималась?

Ну, чем можно заниматься, как не спасением души, хотя с какой радости дерево, если на нем не уберегли листочки...

Отпустили её, когда уже совсем за вечерело, боязно было возвращаться назад. Как на допросе побыла. Выкрутили её вдоволь, как хотели. И так брали на испыт, и этак. Всю на изнанку вывернули. А чего добивались, не понять. Ничего ж она такого не сделала, не допустила. Думала, ночами глаз не смыкая, что б всё это значило, да молвить кому слово про тот вызов не решалась. Может, запрет в военное время таким разговорам, сколько вокруг всего засекречено, она сама ставила подписи на всяких предупредительных документах.

Лишь через три недели Травкиной выдали военную форму, теперь уже настоящую, не обноски и назначили комендантом ремонтных мастерских. Пленный немец как метил.

## 11.

Наталья пристроила на ящике зеркальце, подобрала одной рукой волосы, а другою примерила пилотку. Лицо сразу, посерьёзнев, преобразилось.

Подбила пилотку на бок, чуть натянула на лоб, как делают солдаты, и, повернув голову, глянула как бы со стороны. Еле узнала себя. Военная одежда придаёт человеку мужественный вид, но в той женщине, которую отражал небольшой осколок, скорбно прорезались прежде всего исстрадавшиеся черты.

Прихлопнула зеркальце обратной стороной, уронила лицо в ладони.

Конечно, вся эта амуниция — и сапоги, и ремень, и погоны — подтягивает и строжит, да и в глазах окружающих как-то утверждает, вроде ты становишься сильнее, хоть под гимнастёркой бьётся всё то же трепетное женское сердце. Но с тех пор, как Наталья увидела во дворе надвигающуюся зелёную форму с огоньками на животе, у неё как сложилось ко всему, что связано с войною, отвратное отношение, так и осталось на всю жизнь, чья бы та форма ни была. Форма служит смерти, а не для жизни, что претит материнской сути. Никогда Наталья не думала, что сама влезет в неё...

Да куда более сильное потрясение она перенесла, когда её вызвали в особый отдел.

Сидя за деревянной перегородкой, под плакатом, призывающим убить зверя в его же логове, особист в портупее через плечо и гвардейским значком на правой стороне груди, развернулся на скамейке и, не вставая, допаялся к ящику, обитому железом, поднял крышку, вынул оттуда кобуру, положил на перила загороды. У Натальи обмерло сердце.

Тёмно коричневая кобура из добротной выработанной кожи лоснилась на истёртых до черноты гранях, и то, как эта зловещая штука тяжёлым тупым стуком легла на перила, означало, что она не пустая.

Наталья, положив руки на грудь, отступила назад.

— Пошто оно мне... — выдохнула стоном.

— Положено, — казённо ответил особист, и то, как он произнёс это слово, дало понять, в какие жёсткие тиски угодила она. Так, что и не выпрыснешь.

Особист справил бумаги, а Наталья неприкаянно стояла у стены, под плакатом, и ей невольно вспомнились слова: «Убей немца!»

— Мы переходим границу, — объяснил он, смягчая тон, — а там логово. Да и тут, по лесам, зверья всякого навалом. Сейчас без оружия нельзя.

Думала ли она, гадала, куда забросит её судьбина. Могла ли допустить, что очутится бог весть где, в глуши неведомого края, о котором и помыслить не могла, сидмя сидя тридцать годов на хуторе, ведь за всю свою жизнь она и знала-то

всего Троицкое да материну Ястребовку...

— Расстёгивай ремень, — оборвал Натальины мысли особист, усекнув её замешательство.

Туго соображая, захваченная тяжкими думами, Наталья не уловила пошлости во фразе особиста. Сняла руки с груди, щёлкнула пряжкой. А он, выйдя из-за своего прилавка, живо перехватил ремень, ловко нанизал на него мочку кобуры. И, молодцевато угнувшись, обвил её талию поясом, норовя пальцами ужать бёдра.

Вскрикнув, Наталья отскочила. Металлическая штуковина, обтянутая кожей, грохнула на пол. Только тут Наталья поняла, что произошло.

«И как он может!» — в отчаянии произнесла мысленно, чувствуя, как участилось дыхание.

С тех пор, как она попала в армию, кроме всех прочих невзгод, приходилось ещё испытывать на себе давление облапывающе-похотливых взглядов щеголеватых офицеров, терпеть похабные шутки отъевшихся старшин. И чем дальше продвигался фронт, чем сытнее становилась в армии жизнь, (а с переходом через границу начхозы не гнушались подножным прокормом), тем наглее становились увивания напорных приставал. Никогда не думала она, мысли не допускала, что в таком строгом и суровом деле, как война, придавившая неизбывным горем, найдётся место для постыдного блуда. Как перед концом света обезумели люди...

Да в следующую минуту она зацепенела, перетрусив задним числом, как эта штуковина, что грохнула на пол, не пальнула!..

— Распишитесь вот здесь, — сухо, отчуждённо произнёс особист и указал пальцем на графу в журнале.

Наталья старательно, чтоб не покривить почерком, медленно, затягивая время и отдаляя ту неприятную минуту, вывела свою фамилию, положила ручку. Робко, насильно потянувшись к темнеющей кобуре, и первое, что ощутила, так это вес. Пистолет оказался намного тяжелее, чем она предполагала. Невольно подумалось, как всё то, что губит жизнь, сделано основательно и прочно, и как то, что стоит против бранной беды, зыбко и разимо.

Несколько дней Наталья не решалась ходить с оружием. Так тяжела была эта подневольная ноша. Ей бы жизнь понести под сердцем, а не смерть...

Подпихнула увесистую кобуру под сенник, вроде забыла, а мысль та сторожко стояла всё время на чеку, и куда бы ни пошла, что бы ни делала, выкинуть из головы её не могла. Но и оставлять без особого догляду проклятую машинку нельзя. За тот кусок железа, так ловко, старательно выделанный умельцами ружейного дела, и за решётку сведут.

В овраг, на стрельбы, Наталья приохотилась к Марфе. Метилась Марфа без промашки, пистоль брала запросто, как ухват или кухонный нож. Пригнанная по ладони рукоятка пистолета начисто, без остатка, тонула в её широкой мужицкой руке.

— Я колы ходыла в осовиахим, то там и воздушка була и мелкашка. А патронив сколько хочешь. Инструктор втюрився, так я вже настрилялась, — озорно подмигивала она.

С трепетным, каким-то внутренним страхом Наталья смотрела на тёмно-округлую дырочку воронёного дула, откуда идёт смерть.

— Ты ось так, — учила её Марфа, — ливу ногу вперёд, а плечи трохы розверны.

Собрав все, что ни на есть морщины у висков, Наталья стискивала веки, и как ни готовила себя, всё равно от резкого хлопка вздрогнула, хотя стреляла Марфа. Иначе не могла.

— Шо ж тут такого! — дивилась Марфа и, оттянув и тут же спустив на место верхний металлический брус, передала пистолет Наталье.

Минута далась трудно. Надо было превозмочь что-то такое, чего она не могла. Не смела. Что перечит всему её материнскому существу. Взяла пистолет, и он ожёг руку мертвяще холодной твердью. Тот холодок оледенил душу, напомнил самую страшную ночь, когда она, пересиливая смертельный недуг, нанесённый ранами, дотянулась, прощаясь, горячей в жару ладонью к остывшему лобу Вани...

— Шо ты! — не поняла Марфа.

Она подошла вплотную, взяла Натальину руку и через её палец сверху нажала на спусковой крючок.

Выстрел хлопнул незамедлительно. Сильный толчок ударил в плечо. В ноздри въелась пороховая гарь.

## 12.

Как-то по осени, уже за Вислой, к мастерским подъехала полуторка. Из кабины, хлопнув дверцей, вылез измятый сержант с медалями на груди и пышными усами на загорелом лице. Волосы на голове у сержанта были светлыми, усы чёрными, с винтами на концах. Сержант подошёл к часовому на проходной.

— Слушай, паря, — обратился по-простецки, — как бы нам загнать старушку на яму.

И кивнул на свою полуторку.

Часовой, примкнув ложе винтовки со штыком к ноге, не ответил.

— Чё ты, будь человеком, — отступил назад сержант.

— Не положено, — коротко ответил часовой.

— Знаю, что разговаривать на посту не положено, а ты кликни кого.

— Он — комендант, — махнул свободной рукой часовой во двор.

— Иде?

— А вона.

— Дык то ж баба! — воскликнул сержант.

— У нас комендант Травкина.

— Травкина?.. — удивлённо произнёс озадаченный сержант.

— Да, Травкина, — утвердил часовой.

Наталья обратила внимание, что у ворот происходит что-то непонятное, приблизилась к воротам.

— Сержант Орлов, — отрекомендовал себя бравый усач.

Выяснив, что надо, Наталья разрешила заехать.

— Знаете, с благодарностью говорил сержант, — поспешая следом за комендантом, — без ямы нам не обойтись.

И на ходу подкручивал усы. Наталью эти буравчики раздражали и смешили.

— А если б у вас нашлось болтиков на шестнадцать штуки четыре и вовсе было бы прелестно.

— На шестнадцать найдётся, — ответила Наталья и крикнула часовому: выпустишь потом!

Часовой согласно кивнул головой, а Наталья пошла в кладовую за болтами. Сама не понесла, послала Марфу, которая к тому времени заняла её место кладовщицы.

Шофёр залез в яму и возился недолго, что-то с полчаса. Поддомкратил одну сторону, ослабляя рессору, затем перешёл на другую. Сержант, оставаясь наверху, согнулся в три погибели, и, вывернув бычью шею, отчего глаза его налились

краснотой, заглядывал под колёса, давал руководящие указания. Наталья, хлопотанная своим, выпустила их из виду. Как вдруг её позвали.

«Чё ищё там?» — повернула голову в сторону полуторки.

Если б знала, не теряла времени, а то, вишь, какое важное дело.

— Спасибочко превеликое, — картинно выставлял свои усы сержант, — ей-богу, не добрались бы до расположения.

— Да не за что!.. — всегда испытывала она какое-то стеснение в таких случаях, если ей выражали благодарность.

Надо было выгонять машину за ворота, а сержант мялся. Он явно хотел что-то сказать ещё.

— Тут вот какое дело... — начал несмело сержант, и Наталья подумала, что они будут просить ещё что-то. — Мы слышали, что ваша фамилия Травкина?

— Травкина... — остановилась от неожиданности Наталья.

Сержант Орлов тянул, Наталья, предчувствуя что-то ещё неясное, настороженно заволновалась. Сердце её замерло, а дыхания не стало: может, о Иосифе что?..

— У нас тоже в части есть Травкин.

«Слава богу», — отлегло на душе, и она с облегчением вздохнула.

— Возможно, какой родственник, а то — муж?

— Кто иво знаить, — произнесла она и спокойно добавила: Травкиных много на свете...

Сержант со своим шофёром уехал, а разговор не выходил из головы. Так всю ночь и промаялась в смутных догадках. Думала Наталья о нём, Иосифе. И хотя она не видела его в военном — как ушёл в своём пиджачке и самодельных черевичках, так и остался в глазах — и не представляла, как он мог выглядеть в гимнастёрке и галифе, всё виделся он ей то вымученным после тяжёлого ранения, то вот таким, бравым, с медалями и солидными, как теперь, к концу войны, стали заводить многие, усы, и она гнала радостные, печальные мысли долой, но они упорно сопротивлялись и мучили обессиленное к утру сознание...

А сержант Орлов, встревоженный случайным совпадением, тоже не мог успокоиться. Вернулся в своё расположение, отыскал Травкина. Тот как раз чинил колесо походной кухни, стоя на колене.

— Что делаем? — подошёл к нему бодро, уверенный в добром деле.

— Да вот... — указал на поломанную спицу Травкин.

Вообще, Травкина в части знали, как мастерового человека, руки его были действительно золотые, их приберегали для всяких поладок.

— Слушай, паря, ставь магарыч.

Иосиф, не обращая внимание на болтовню Орлова, копался в ступице долотом, выковыривал трески дерева.

— Ты чё ж, глухой?

— А тебе чего? — серьёзно спросил Иосиф, не выпуская долото и молоток из рук.

— Жену твою нашли, говорю.

На те слова Иосиф не обратил а никакого внимания, мало кому взбредёт охота поболтать языком на подвесах. Внимательно сосредоточась, примерил затесок новой спицы в норку ступицы, чиркнул гвоздём метку, где обрезать.

— Правду говорю.

Вдруг мысль как-то повернулась, и он опустил молоток наземь. Всякого случилось повидать на фронтовом веку — вызволяли из концлагерей пленных, вызволяли и гражданских, угнанных в неволю даже с детьми, и у него мелькнула страшная догадка о том, что среди всего этого подневольного, изведенного под корень люда, могла оказаться и его Наталья с малыши. Та ж хуторская сторона он сколь-

ко ж под ним, супостатом находилась, и оттуда сколько не кидал в последнее время, как освободили, солдатских треугольников — никакого отзвука.

— Иде?.. — еле продохнул. Руки у него дрожали, кадык ходил вверх-вниз.

— В армии.

«Ну, это уже чистая, без подмеса, коротенька побрехенька, — отлегло от сердца, — тут меня не купишь».

В следующую минуту он уже возмутился: рази можно так изгаляться над живою душою! Что за смешки! С этим не шутят.

— В армии, говорю! В мастерских служит. Комендантом.

Куда ей до армии, когда за подол четверо тянут — мал мала меньше. И какой из неё, деревенской бабы, да ещё и комендант!

— Натальей зовут твою?

— Натальей... — оторопело моргал глазами.

— Константиновной?..

— Константин отец был... — ещё больше дивился Иосиф.

— Высокая?

— Высокая.

— Красивая?

— Ну дак! — улыбнулся.

### 13.

Сержант ушёл, заронив смятение в душу, а боль оставил. Невысказанную. Выстраданную. Не давала она продыху, не давала жить. И что ни делал, всё валилось из его золотых рук.

Ночь не спал, наутро явился к своему командиру части. Объяснил всё, и его отпустили. Военская часть, где он служил в ту пору, находилась во втором эшелоне, после ранения Травкин уже не числился в строевых, а так, скитался по тылам на подсобных работах.

Точно десяток лет свалил разом наземь тяжким грузом, первый раз за всю войну причепурился, как, было, молодым, зачесал чуб, который к тому времени уже особо не запрещали в армии, вышел, весь подтянувшись, на КПП и упросился на попутную машину.

Иосиф толковал с часовым, доказывая, кто он и зачем, а глазами шастал по двору. Увидел женскую фигуру в гимнастёрке и, ещё не узнав, распялся на железных прутьях ворот.

Она, точно сердце почуяло, вскрикнула внутренне, повела глазами — обмерла...

Нет, это был не он. Не его стать. Чёрное, исстарившееся морщинами лицо. Запалые, точно вытекшие, глаза...

И — он. В человеке всегда остаётся что-то такое, что навеки роднит его с другим человеком и что никаким временем вытравить нельзя. Это был он, её Иосиф. Обнялись, потерявшись, уронив головы, беззвучно забили судорожной дрожью плечи.

— Где ж дети? Дети где? — Очнулся он первым, глядя на неё, и, ещё не рассмотрев, не признав по-настоящему за свою, насторожился. Глаза невольно искали ещё кого-то, хотя не верилось, что такой выводок можно за собой волочить по ухабинам войны.

Щадя солдатovo сердце, она не сказала ему о детях, надо было немного отойти

от встречи, хотя он сразу что-то уловил в её уклончивом взгляде, в горьком вскрике губ. А тут люди вокруг. Диво-то какое. Почти со всех цехов сбежались. И никто никому никаких вопросов — всё понятно и так. Не к месту слова, ничего сейчас незначащие.

Вечер был тяжкий. Самый чёрный из всех. И как только его снести. Их оставили наедине, и они потерялись, о чём говорить. Нет, за годы войны собралось столько, что и за всю жизнь не разведёшь, а уста разомкнуть не в силах. Наталья, уронив голову на грудь мужу, выплакивала последние слезинки, а горло душила такая сухота, такая боль, какой ещё не было. Никогда она не думала, что боль живёт своей жизнью, идя где-то рядом с тобой, и может быть сильнее, чем при горе...

— Где ж дети?.. — упорно он стоял на своём.

В первый день она ничего не сказала ему, щадила. Перепоручила, мол, добрым людям, и он, отшатнувшись, осуждающе посмотрел на неё — как это можно оставить четверых на чужие руки? И этот укор тоже надо было снести...

— Что это? — взял он её руки в свои.

На тыльной стороне ладони виднелось круглое, в копейку, пятнышко. Пуля, пройдя сквозь кисть руки матери, вошла в головку ребёнка, смешав кровь матери и младенца.

Его интересовали подробности, а подробности мучили её, и он замолкал надолго.

— Какая ты у меня исстрадавшаяся...

В окне уже светало, а они всё сидели, не видя друг друга, смутно чувствуя далёкую отвыкшую близость.

— Как же это?..

— Кто иво знать...

Разные толки по земле блукали подпольно, в то время и дыхнуть о том нельзя было. Говорили, будто в одном из сараев хутора остались наши раненые. Вывезти их не успели при отступлении. Немцы начали подходить, кто-то из раненых выстрелил в щёлку между брёвнами... Немцы, разъярённые, за убитого своего солдата, зашли цепью, выстригли всех поголовно, кто находился в хуторе.

— Ты видела его? — Неожиданно спросил Иосиф.

Наталья не поняла.

— Ну, который?..

— А как же. Высокий такой бежал. Узкоплечий. Каска на лоб, лицо рудое, нос крючком. И золотые огоньки на зелёном животе...

Долго сидели молча. Потом он спросил:

— Узнала б?

— У него шрам на щеке.

И ещё он спросил:

— Ну, а если б сустрелся?

Наталья не ответила.

## 14.

Каждый раз, как приводили на работы немецких пленных, Наталья, холодея сердцем, скользнёт беглым взглядом поверху, по головам, задерживаясь на высоких, моля бога, чтоб не попался тот, которого запомнила на всю жизнь, и, не найдя, крестясь в уме, отходила постепенно тем же сердцем.

Война тем временем приближалась к своему завершающему концу, настроение поднималось и командование, узнав о такой небывалой встрече, оставила Травкиных вместе, при тех же мастерских, тем паче, что Иосиф в строевых уже не значился, а руки у него на всё гожие, и в их ремонтном деле пригодились. Отвели им небольшую каптёрку, где поместилась всего кровать да сбитый из ящиков стол с осколком зеркала, в которое Наталья стала смотреться чаще. Жили они, как ещё никогда, щадя друг друга, Иосиф жалел её, глядя, какая она несчастная...

И материнская плоть, то ли истосковавшаяся по настоящей жизни, то ли по своему назначению, пробудилась. Наталья понесла.

Но в том никому не призналась. Ходила по земле святою, храня таинство. И если б кто внимательно пригляделся со стороны, то мог заметить, что движения её стали сдержаннее, а осанка покладистой и степенной, как и должно у будущей, уж если уже не бывшей, матери.

Как-то на плацу перед мастерскими выстроили для пересчёта новую партию пленных. Наталья, проходя мимо, бросила исподбровный взгляд, повела поверху машинально глазами, как всегда, как привыкла, и уже намерилась в кузнечный цех, как остановилась. Глаза о что-то споткнулись, а сердце дрогнуло. Прошла мимо, вернулась. И — узнала шрам. Через всю щеку от скулы к губе. Тот самый, который узрела она, когда немец надвигался на неё с автоматными огоньками на животе. Вся боль сошлась в одно у сердца, рука невольно потянулась к поясу.

Наталью узнать он, понятно, не мог. Мало ли таких прошло через его руки. Это она, единого, отпечатала памятью навечно — в железной, надвинутой на лоб, каске, с браво закатанными по локти рукавами, с куцей корягой автомата на шлее через плечо, он бежал, не чуя под собой стонущей людским горем земли, люто сметая всё подряд, неся ещё небывалое зло.

Она расстегнула кобуру, и всё в ней сжалось до предела. Весь мир сузился в одну точку.

Да это был уже не тот немец и как бы не то зло. Он, съёжившись, держа застывшие кулачки в карманах распушенной, без пояса шинелишке, стоял на снегу в опорках, закутанных рогожей. Раскатанная пилотка была натянута до самых ушей, шрам почернел, а синий крючковатый нос обречённо торчал из поднятого, куцега и негреющего, воротника. Претерпевая холод, немец ждал, пока закончится пересчёт и, ничего не подозревая, смотрел на хлопочущих солдат охраны.

Ум что-то медлил, а рука тянулась к беде. Тронула холодный металл, на мгновение остановилась. Тот смертный холодок жгучей болью отозвался другим, таким похожим, когда она, прощаясь, дотянулась простреленной ладонью к остывшему лобу...

Нащупала рукоять, её рубчатый бок, весь в нарезках, но такой же холодный, как вдруг что-то глубоко под сердцем, глухо, утробно, давая о себе знать сюда, на божий свет, стукнулось живое, и пальцы её дрогнули. Преодолевая ещё невиданное сопротивление, собрав все воедино, какие у неё были, силы, ещё не осознавая до конца, что делает и для чего, Наталья с трудом размыкая пальцы на притягивающем, как магнит, металле, одёрнула руку. И застегнула кобуру.

Чтоб никогда не расстёгивать её.

**P.S.**

***Когда-то у меня была встреча с читателями на комбинате строительных материалов, что в Алексеевском районе Белгородской области. Шёл как раз юбилейный год, и я вспомнил трагедию на хуторе, как назы-***

вала её Травкина — Калиновка, и как его именовали официально — Красный. Смотрю: в зале женщина вытирает платком слёзы. Подходит позже, говорит, что среди расстрелянных там детей и её родные. Видная, рослая женщина лет сорока — а это было на 40-летие Победы, в 1985 году — называет пятнадцатилетних подростков дядей Мишей и дядей Егором.

Это оказалась Нина Николаевна Турова — дочь Марии Фоминичны Черных, которая приютила израненную Травкину у себя в Троицком. Нина Николаевна и помогла мне встретиться с Натальей Константиновной.

И вот я подхожу к дому, где живёт Наталья Константиновна, волнуясь, сейчас увижу мужественную женщину с такой мирной фамилией — Травкина. Что она расскажет и захочет ли? Сколько осаждают её с распросами, а каждый раз всё надо пережить заново, перенести...

Дверь отворилась, и передо мною выдвинулся силуэт женщины. Дальний свет падал из-за спины, трудно было рассмотреть её лицо, но я понял, что это она, по незгорбленной, хотя и под восемьдесят, фигуре, по спокойным сдержанным движениям.

Небольшая комната, деревянный шкаф ручной работы, скамейки, сделанные, как я узнал позже, хозяином — мастеровым человеком. Мужа своего, Иосифа Кузьмича, она уже к тому времени похоронила, дочь Вера вышла замуж, живёт Наталья Константиновна одна.

...С тех пор как, случилась беда, прошло более сорока лет. И я беру эти израненные руки в свои. Руки матери, в отметицах шрамов. Растивших хлеб. Пестовавших детей. Я беру эти святые руки в свои и с невероятным усилием над собой, с болью в сердце, силюсь представить, как вот сюда, в белесое пятнышко на тыльной стороне ладони, поддерживающей головку, вошла пуля, смешав кровь матери с кровью ребёнка...

— А дети до сих пор приходят ко мне по ночам. Боря занесёт дров, а то у мамы, мол, палец болит (это он знает, что я пораненная) и я просыпаюсь, и слышу, как ноют мои руки... Одно время Ваню видела. Часто. Почти каждую ночь. А потом отошёл...

Наталья Константиновна замолкла, долго сидела, не шевелясь. Сжалась, белея, губы запалого рта. Судорожно дрогнули изрешеченные пулей пальцы рук.

Кто приходит? Да разве расспросишь каждого?.. Чаще они расспрашивают. Привечала всех одинаково — и школьников, затеявших сбор в её квартире, и многих приезжих с фотоаппаратами и записными книжками. Не знала она, что среди гостей были скульпторы и художники.

— Вам рассказываю, а сама не могу... Когда от меня уходят, обтираюсь холодной водой. И там, у памятника, боялась, что не выдержу... Набили мне рот таблетками... Но говорила, кажется, правильно, откуда слова брались... Вот, альбом подарили...

Листаю картонные страницы.

— А это кто, Ваша дочь? — указываю на девочку, что изображена рядом с Натальей Константиновной на памятнике.

— Нет. Это Марина. Яковлева Марина Ивановна. Нас из высылки осталось-то двое...

Когда немцы заскочили в хату, девочка забилась под кровать и тем спаслась. Отца и мать с братишкой расстреляли, а она жива осталась... Живёт в Киеве.

Наталья Константиновна как-то вся подобралась и уже другим голосом продолжила:

— А дочь с внучкой бывают у меня часто. И зять Анатолий Григорьевич возит меня к памятнику, это недалеко. Там, под плитою, пятеро моих с мамой... И на то место, где был наш выселок заезжаем. Там сейчас хлеб растёт.

\* \* \*

Наталья Константиновна Травкина отошла в 1985 году. Но после войны родила девочку. Пятого ребёнка нарекли Верочкой. Вера Иосифовна окончила Курский медицинский институт, замуж вышла тоже за врача — Анатолия Григорьевича Степанова. Сейчас Вера Иосифовна работает во Второй поликлинике города Старый Оскол; Анатолий Григорьевич — заведующий наркологической поликлиники. В их семье родилась девочка — Леночка. Она уже выросла и тоже избрала себе самую мирную профессию на земле, работает врачом в железнодорожной больнице. Появился на свет и правнук Натальи Константиновны — Андрейка...

**И всё же!**

**И всё же: как ни пытался враг вырвать корень Земли Русской, а побегу от него золотые пошли. Да и как изведёшь его, наш род, если у него есть такие святые матери, как Наталья Константиновна Травкина, способные своим титаническим мужеством вынести невероятные тяготы самой лютой години, чтобы дать бесценное потомство, заложив целительные гены в будущее родного Отечества.**

Для среднего школьного возраста

**Владислав Мефодьевич Шаповалов**

## **РУКИ МАТЕРИ**

Рассказ

Набор и вёрстка — В. В. Шаповалов

Формат 60/84 1/16. Усл. типог. п.л. 4

Тираж 1000